

EUROPA ORIENTALIS 7 (1988)
CONTRIBUTI ITALIANI AL X CONGRESSO INTERNAZIONALE DEGLI SLAVISTI (SOFIA, 1988)

ДНЕВНИК КЮХЕЛЬБЕКЕРА КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ

РОССАНА ПЛАТОНЕ

Любой дневник содержит в себе элементы интеллектуальной биографии автора. «Дневник» Кюхельбекера – особенно.¹ Раздумья писателя занимают в нём исключительно важное место.

Это произведение Кюхельбекера несомненно принадлежит к литературному жанру дневника, хотя он и не был задуман как литературное произведение. Это своего рода средство и способ самосохранения и самозащиты писателя, форма умственной самодисциплины в условиях одиночного заключения и ссылки.

В дневнике Кюхельбекер создает и выражает свой моральный и интеллектуальный облик прежде всего, но не только для самого себя; когда — в годы ссылки — у него родится сын, он станет писать и для него. Порой у него возникает надежда, что найдутся и другие читатели:

Когда меня не будет, а останутся эти отголоски чувств моих и дум, быть может, найдутся же люди, которые прочитав их скажут: он был человек не без дарований; счастлив буду если промолвят: и не без души (18 августа 1834 г.).

¹ Все ссылки на «Дневник» относятся к изданию: Кюхельбекер 1979.

На первый взгляд в дневнике много случайного: Кюхельбекер начинает вести его не тогда, когда он испытывает определенную внутреннюю потребность, а просто тогда, когда ему разрешают пользоваться пером и чернилами. Чаще всего он читает не те книги, которые могли бы его заинтересовать, а те, которые случайно попадаются ему под руку. Однако если преодолеть первое впечатление фрагментарности, разбросанности, разнородности дневниковых записок — то всё четче вырисовываются некоторые черты интеллектуального портрета писателя, признаки, с одной стороны его созревания, а, с другой — оскудения его творческих сил, неизбежно порожденного духовным одиночеством.

В данном сообщении рассматриваются лишь некоторые аспекты дневника Кюхельбекера: его специфический характер; сравнение с записными книгами итальянского поэта Леопарди; нити, связывающие дневник с прежней профессиональной деятельностью автора; литературные размышления Кюхельбекера, его отношение к русской прозе тех лет.

Дневник — это своего рода «аналитический роман» Кюхельбекера, в котором выражена попытка автора собрать воедино свои мысли, не дать им исчезнуть, вести постоянный контроль над самим собой, с тем, чтобы не допустить разрушения своей личности в чрезвычайно тяжелых условиях.

В то время, когда Кюхельбекеру не позволяли писать — как двадцать лет спустя это случилось с Достоевским — он был одержим страхом забыть свои собственные мысли, забыть идеи своих произведений, словом все то, что составляет сущность и содержание писательского труда. Интеллектуальная деятельность интеллигента естественно оформляется в письменном виде. Именно письменная форма дает мыслительной деятельности не только способ выражения, но и необходимую опору. И потребность писать становится еще более острой и жизненной, когда возможности устного общения оказываются крайне ограниченными.

«Дневник» Кюхельбекера, дошедший до нас, охватывает период с декабря 1831 г. до июня 1835 и с сентября 1837 г. до ноября 1845 года и прерывается за несколько месяцев до смерти поэта (11 августа 1846 г.). В этом произведении отражены раздумья поэта о самых разнообразных темах, его размышления, которые позволяют проследить ход мыслей Кюхель-

бекера, процесс творчества и создания некоторых его литературных произведений.

Еще при жизни Кюхельбекера были утрачены первые, «ревельские» тетради, охватывающие период с 25 апреля по 14 декабря 1831 г.

В Ревельском дневнике все мягче, живее, чем в нынешних: самое уныние в нем представляется что-то поэтическое. Тогда еще душа у меня не успела очерстветь от продолжительного заточения (2 сентября 1833 г.).

Большая часть записок относится к тем четырем годам, которые Кюхельбекер провел в одиночном заключении в Свеаборге. Во время ссылки в Баргузине и в Акше, уйдя целиком в будничные заботы, Кюхельбекер редко записывал что-либо в своем дневнике. И только лишь в Кургане, куда он был сослан в марте 1845 г., он стал снова вести дневник довольно регулярно до ноября того же года, до того времени когда слепота окончательно лишила его возможности писать.

Таким образом, дневник Кюхельбекера по существу представляет собой дневник заключенного, жизнь которого проходила в чтении и размышлениях. Общения с редкими собеседниками были доступны ему лишь в первые годы его заключения, проведенные им в Динабургской крепости. Тогда он еще не вел дневник. Он изредка общался с капитаном крепости Егором Криштофоровичем и с некоторыми офицерами гарнизона. Полностью отсутствуют в первой части сохранившегося дневника — так же как и в жизни писателя — «светские» события, такие как встречи, путешествия, спектакли. Беглые упоминания об общении с людьми, о семейной жизни появляются в годы ссылки. Причем это общение не всегда приносит радость:

Ни один год моей жизни не начался так тяжело, как нынешний, а заметить должно, что это пишу я, просидевший десять лет в каземате (9 января 1842 г.).

А в каземате единственным контактом с близкими являлись письма. Полученное письмо или книга может стать центральным событием дня:

Нынешний день оаза в моей пустыне: я получил письмо и книги от моей доброй Улиньки (17. 2. 1832 г.).

Часто встречаются записи о физическом или психологическом состоянии поэта: «голова болит», «сегодня опять мучился хандрий», «страшно подумать, как я ко всему стал равнодушен» и т. д. Автор нередко ищет утешение в религии: «в тоске, в печалих, при огорчениях молю Господа послать мне утешение» (7. сентября 1832 г.). В дневнике читатель не находит откровенных излияний чувств, ни слова о любви, хотя пишет еще совсем молодой человек. Буквально несколько сдержаных слов о привязанности к молодой жене, с которой он вступил в брак уже в ссылке. Иногда Кюхельбекер пишет о мелких событиях и о редких удовольствиях жизни заключенного: «был сегодня в бане и стригся» (22 октября 1832 г.); «сегодня помер мой котенок. Очень мне понятна скорбь Гофмана о его Муре; я своего Васьки никогда не забуду» (18 декабря 1834 г.); «сегодня я перестал кофе пить (...) и в приготовлении его едва ли не находил большее удовольствие, нежели в самом питье» (2 мая 1832 г.); «ел сегодня в первый раз землянику. Это не важно, но в моем быте — происшествие» (23 июня 1833 г.); или рассказывает о смешных или трогательных моментах жизни животных, за которыми он наблюдает то из своего окна то во время прогулки: «прохаживаясь по плацформе я забавлялся, глядя на сражение шпиона с козою» (23 июля 1832 г.); «сегодня я был свидетелем материнских уроков, которые преподавались у меня на окне: воробышина самка привела туда клевать крошки трех своих птенцов...» (11 июля 1833 г.).

В дневнике заключенного ощущается почти физическое, «телесное» присутствие автора. Простейшие требования занимают то центральное место, о котором мы часто забываем среди развлечений повседневной жизни. Одиночество выявляет элементарность существенных материальных требований, и, в противовес, сложность и глубину интеллектуальной деятельности. Кюхельбекер не отказывается от своей уже признанной роли поэта и критика. Его культура, политические убеждения, принадлежность к околодекабристскому масонству и т. д. образуют то умственную структуру, которая позволяет ему продолжать заочно свой идеальный диалог с внешним миром.

В дневнике занимают небольшое по объему, но совсем особое место описания снов, исполненных, в представлении Кюхельбекера, глубоким символическим смыслом. Порой он ви-

дит во сне своих друзей, Грибоедова, Пушкина, или своих соратников, Рылеева и Каховского; иногда ему снятся сложные философские сны. «Деятельности души во сне» он придает существенное значение (233). Так, 16 июня 1833 г. он подробно рассказывает о сне, который позволяет заглянуть в его внутренний мир:

У меня был самый жанполевский сон, в котором Платонова идея о грехопадении перед рождением представилась мне в смутных, не живописных однако же поэтических образах; вот этот сон, сколько его теперь помню.

Носился я в каком-то сияющем облаке. Чем я сам был - не знаю; но, кажется, без тела и образа. Под облаком виделось мне темное, неосвещенное море, и вдруг я очутился в этом море. Жажда томила меня, и я хлебнул нечистой воды его. Тогда послышался мне голос и спросил меня: «Не пил ли ты сей воды?» Ответ мой был: «Нет, я напился свету» (Грехопадение). На то мне было сказано: «Хорошо, если так; но если ты выпил воды, не было бы тебе впоследствии за то тяжко!» Потом я увидел и других плещущихся в море; некоторые из них держались за якорные канаты, но самих кораблей я не видел; вокруг меня был сумрак - и мне являлись только небольшие, частые волны и сияние, которое парило над морем. Внезапно раздался гром — и мне показалось, что после этого удара я должен буду родиться, — но я проснулся (252).

Описание этого сна предстает перед нами, как литературный текст, очень значительный на психологическом плане, исключительно богатый философскими, религиозными и литературными реминисценциями; так его ощущает и Кюхельбекер, которому он напоминает хорошо известные кошмары и видения Жан-Поля.

Многозначный символ воды проходит через все человеческие культуры; не случайно в наше время Гастон Башлар посвятил одно из своих произведений (Bachelard 1940), соотношениям между водой и мечтами, анализируя образы воды в сновидениях, в поэзии, в философии. С другой стороны, любопытный сон Кюхельбекера, с ощущением собственной жизни до рождения, предвещает, в некоторой степени, «Котика Летаева» Белого.

Идея о грехопадении, о возможном наказании за собственную грешность мелькает как во сне так и в дневниковых записях, где христианское понятие первородного греха перепле-

тается с романтической идеей жизни как расплаты за неосознанную вину, так же как и с чувствами, непосредственно связанными с биографией Кюхельбекера. Хотя обычно он не поверяет даже дневнику свои самые сокровенные мысли, в отдельных случаях, однако, он словно отчитывается перед самим собой. Тогда то и проскальзывает боязнь причинить зло своим близким вопреки своей воли.

Не знаю за собой никакой вины, но боюсь за тех, которые были ко мне сострадательны: ужасно подумать, что они за человеколюбие свое могут получить неприятности: я бы охотнее подвергся всему, чем воображать, что заплачу им такой монетою (20 декабря 1831 г.).

Возможность стать поводом страдания для других терзает Кюхельбекера, ощущается им, как вина. Он знает, что его поведение во время следствия было продиктовано скорее чувством верности присяге, долгом чести, чем нормами конспирации. Так поступили почти все декабристы. Кюхельбекер был арестован немного позже остальных и мог не называть фамилий, которые еще не были известны следователям. Тем не менее он испытывает угрызения совести при мысли, что его показания смогли повредить И. И. Пущину (см. Кюхельбекер 1979: 671). Но сам Пущин ни в чем не обвинил Кюхельбекера; он до конца остался его верным другом; именно Пущину умирающий поэт продиктовал свое так называемое «литературное завещание».

Связанный с тюремной и поселенской жизнью, дневник не замыкается, однако, в кругу самоанаблюдений и ежедневных страданий. Размышляя над многочисленными вопросами, автор сосредоточивает свое внимание на нравственных, исторических и эстетических проблемах. Книга, чаще всего, питает его раздумья: она заменяет ему собеседника.

Еще в юности, при составлении знаменитого лицейского «Словаря» (см. Мейлах 1975), Кюхельбекер привык делать выписки из прочитанного, выделять те мысли, которые казались ему наиболее значительными. «Словарь» целиком состоит из подобных выписок и цитат. В «Дневнике» же они занимают лишь небольшую часть, служат отправной точкой для рассуждений писателя.

* * *

Было бы небезинтересно провести сравнительный анализ записей «Словаря» и «Дневника» Кюхельбекера с записями в записных книжках («Дзибалльдоне») его итальянского современника Леопарди (1798–1837). Такое сравнение представляется нам правомерным потому, что Леопарди, подобно Кюхельбекеру, являлся представителем высоко интеллигентной прослойки, получившей отличное классическое образование, но вовсе не чуждой идеям романтизма.

Несмотря на явную разницу в объеме, в структуре и даже в духе упомянутых произведений Кюхельбекера и Леопарди, эти труды позволяют проследить то общее, что их объединяет. Речь идет об общей культурной атмосфере данной эпохи и об определенном сходстве в темах выписок и размышлений. К ним, в частности, относятся такие как дружба, любовь, искусство, гений, изящное, величие, лесть, ложь, рабство, тиранство, терпимость, свобода и т.д.

«Дзибалльдоне» — это не дневник, хотя большинство записей отмечено датой; Леопарди не пишет о событиях своей жизни, не рассказывает о своих сновидениях. Правда, он рассуждает о снах, однако, сближает их с детским воображением, с античной поэзией, рассматривая их как источник непосредственных чувств, наивных забав, иначе недоступных извращенному человеку XIX столетия.

Леопарди и Кюхельбекер часто возвращаются к вопросам языка, перевода, они сами много переводят, оба они очень чутки к судьбе поэзии в условиях «утилитарного» века. Те литературные проблемы, которые они сами обсуждают и те, которые они ставят перед другими — вполне сравнимы. Однаково трудно подвести и Кюхельбекера и Леопарди под ярлыки романтизма и классицизма. Эти категории еще раз оказываются неудовлетворительными, неточными.

Уже в 20-ые годы XIX века Вяземский внес в литературную полемику определение «классического романтизма», а в наши дни один из крупных итальянских специалистов, знатоков наследия Леопарди — Вальтер Бинни (Binni 1969) — предложил для него определение «классика-романтика», возражая тем самым против тех, кто видит в Леопарди просто романтика, и против тех, кто считает его антиромантиком. С

другой стороны, сам Кюхельбекер причисляет себя к славяно-романтикам. Все эти двусложные определения свидетельствуют о несомненной связи двух писателей с культурой романтизма и о невозможности уложить их творчество в узкие рамки одного из упомянутых литературных течений.

Анализируя литературное наследие декабристов, критики говорят о различных его тенденциях, о сочетании романтизма и классицизма, о гражданском романтизме, о связи с высокими жанрами XVIII века. Все эти черты, в самом деле, характеризуют творчество декабриста Кюхельбекера, и в то же время они ярко выражены в раннем творчестве его итальянского ровесника Леопарди.

Оба поэта выражают в классических формах высокий гражданский пафос. Тираноборческий «альфиерилизм» — т. е. идеи трагического поэта XVIII века Витторио Альфиери (об Альфиери в декабристской критике см. «Литературно-критические работы декабристов» 1978: 72, 99, 215, 301) — вдохновляет ранние стихи Леопарди, как и трагедию Кюхельбекера «Аргивяне» (См. Picchio 1978). Переплетение романтизма с классицизмом, своеобразный «новаторский архаизм» определяют и известное литературное одиночество двух писателей среди современников (Тынянов 1929; 1969; 1973).

Леопарди сам составляет указатель своего «Дзибалдоне», посвящая отдельные листочки только некоторым, особенно важным темам. Любопытно бросить взгляд на две-три из мыслей, которые он излагает под рубрикой «романтизма» и которые относятся, в основном, к 1818–1823 годам.

Первая запись является возражением двадцатилетнего Леопарди против теоретика итальянского романтизма Лодовико ди Бреме:

Нельзя сводить, как это делает Бреме, всю современную поэзию к патетическому (...), как будто возвышенное, пылкое, ликующее, торжествующее (...), грациозно-непринужденное, одним словом, вся античная поэзия, эпопея, лирика — когда она не сентиментальна — гимн победы, описание битв, псалмы Давида, оды Анакреонта и т. п. не являются поэзией (Leopardi 1949: Zibaldone I, 24).

От этой мысли 1818 года Леопарди постепенно приходит к признанию сентиментальной, печальной поэзии, как единственно возможной в его эпохе. Она одна может выразить не-

счастье современного человека, исключить всякую иллюзию о благосклонности природы или провидения к человеку. Таким же образом, он переходит от утверждения превосходства природы над разумом до «восторга разума» (Fasano 1985), позволяющего достичь великих истин.²

Не стоит приводить те многочисленные записи Кюхельбекера, которые по смыслу близки к мыслям Леопарди. Можно все же заметить, что и в записях и в художественных произведениях Леопарди мы находим то переплетение просветительских и классических традиций с романтическими формами, о котором Ю. Манн говорил по поводу Кюхельбекера и некоторых его русских современников (Манн 1976).

Эти два писателя, чей круг интересов во многом совпадает, приходят к совершенно противоположным позициям. Леопарди, потеряв все свои юношеские иллюзии, приходит к трезвому пессимизму и к материализму. Кюхельбекер, не менее разочарованный в высоких надеждах своей молодости, все больше углубляется в своих религиозных убеждениях, ищет утешение в смирении, в воле провидения объяснение

² Ход мыслей Леопарди в те годы, когда для него центральной стала проблема об отношениях между природой и разумом – можно синтезировать весьма схематически. 1) В древности не было разрыва между природой и человеком, поэтому античная поэзия такая простая и величественная. Природа велика, разум ограничен. 2) Наш печальный век разума и просвещения уже не владеет чудесной простотой древних. Древность – детство человечества. Поэтому нужно прибегать к детскому воображению и к снам, чтобы вернуть эмоции тех времен. 3) Но древний мир вернуть невозможно. Классическая модель теряет свою притягательную силу. Подражание античности, злоупотребление мифологией становятся невыносимыми. 4) «Никакая другая поэзия, кроме как печальная, неозвучна нашей эпохе, никакая другая тональность, о чем бы она не повествовала» (12 декабря 1823) (Leopardi 1949: Zibaldone II, 808). 5) Философский век не может быть поэтическим. Только величайшие умы могут быть одновременно и философами и поэтами. 6) Поэзия обладает «оживительной» способностью; даже в самых грустных своих выражениях она способна утешать. 7) «Великие истины, особенно абстрактные, метафизические или психологические, раскрываются только благодаря восторгу разума, и только теми, кто способен на такой восторг. Поэзия и философия в равной мере являются как бы вершинами человеческого духа, самым благородным и самым трудным даром, которому может посвятить себя человеческий ум» (8 сентября 1823 г.) (Leopardi 1949: Zibaldone II, 420). В этой схеме теряются нюансы; тем не менее линия развития идей Леопарди о романтизме в 1818–1823 гг. именно такова.

исторических событий. Это доказывают не только записи дневника, но и стихи написанные в заточении, роман «Последний Колонна» и т.д.

* * *

Постоянными спутниками Кюхельбекера являются Библия, предпочтительно в немецком переводе Лютера, Гомер и Шекспир. Происходя из немецкой лютеранской семьи, Кюхельбекер часто перечитывает лютеранских проповедников Чирнера, Дрезеке, Рейнгарда. Горячий славянин и русский патриот, он не отсекает свои немецкие корни. Матери он пишет по-немецки, в немецкой культуре чувствует себя свободно, как в родной стихии.

К Гомеру он относился с восторгом (Ергунов 1966). Между прочим, Леопарди тоже считает, что Библия и Гомер — источники всей европейской литературы. Ради Гомера Кюхельбекер систематически изучает греческий; римских писателей он ставит гораздо ниже, считая их лишь подражателями греков.

По отношению к Шекспиру он разделяет восхищение русских романтиков, считавших английского драматурга своим предшественником. Его внимание особенно привлекали исторические драмы Шекспира, часть которых он сам переводил (Левин 1963; 1968).

В своих письмах к родственникам и друзьям Кюхельбекер просит присыпать ему исторические труды, внимательно читает их, размышляет о прошлом и современности, многократно высказывая свою трагическую концепцию истории. В числе исторических произведений, о которых он пишет в дневнике, можно назвать «Историю Швеции» Олафа Далина, «Историю об упадке и разрушении Римской империи» З. Гиббона и, прежде всего, «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина.

В декабристской среде «История» Карамзина вызвала ожесточенные споры (Л. Н. 1954: 557-598), в связи с отдельными высказываниями автора в пользу самодержавия. Как и другие декабристы, Кюхельбекер разделял не все позиции Карамзина: «Он редко бывает глубок» (18 сентября 1834), «Несправедливость Карамзина к Шуйскому истинно возмутительна» (27 сентября 1834) и т. д. Вместе с тем он считал «Историю» Карамзина самым лучшим образцом прозы своей эпохи.

Оторванный навсегда от привычного быта, Кюхельбекер сохраняет свои прежние культурные и профессиональные интересы. Частые записи о восточных культурах, об арабской, персидской и турецкой литературе говорят не только об экзотизме романтической эпохи, о привычном в те годы восточном колорите, но и о серьезных занятиях, о глубоких знаниях бывшего воспитанника царскосельского лицея, первый директор которого, В. Ф. Малиновский, был знатоком турецкого и еврейского языков.

Вопросы педагогики также не переставали занимать Кюхельбекера, бывшего профессионального педагога, учителя русской словесности в пансионе при Главном Педагогическом Институте, члена Комитета Вольного Общества для учреждения Ланкастерских школ в Петербурге. Весьма содержательна в этом смысле запись 29 марта 1834 года. Анализируя труд И. Н. Ястребцова «Об умственном воспитании детского возраста», Кюхельбекер кратко излагает и свои собственные соображения о начальном обучении. Главное для него — раскрыть человечность, мысль, душу ребенка. Он предлагает заменить в учебном плане механику географией и астрономией, сохранить преподавание латинского языка и вместе с тем обучить ребенка одному иностранному языку, чтобы сделать из него «европейца». Педагогические мысли Кюхельбекера были изложены и в его письмах к племянникам и перекликались с подобными размышлениями других декабристов. Так, Лунин, например, приблизительно в те же годы разработал свой «План начальных занятий, разделенный на три этапа с 8 летнего возраста до 14 лет» для воспитания маленького Миши Волконского (Лунин 1987). Дворянское происхождение почти всех декабристов определяет и их педагогические взгляды; они стараются сохранить лучшие качества своей среды, чтобы сформировать благородного человека, человека просвещенного, с широким европейским кругозором, с хорошим знанием языков; эти качества они хотели распространить и в другой социальной среде. Кюхельбекер в молодости мечтал о работе школьного учителя в провинции. Во время ссылки в Акше он, как можно предположить, преподавал в казачьей школе (см. запись 8 июля 1844 г.).

В 1817 г., будучи учителем русской словесности в Благородном пансионе, он написал не дошедшую до нас «Логику языка» (см. Маркевич 1954). В своей парижской лекции, в 1821

г., он поставил некоторые вопросы (о заимствованных словах в русском языке, о глаголе и т. д.), к которым возвращается затем в годы заключения. Лингвистической проблематике посвящена и последняя статья Кюхельбекера, опубликованная в «Отечественных записках» в 1845 г., под подписью «-ъ» (см. Азадовский 1954). С этой статьей непосредственно связана дневниковая запись от 6 августа 1845 г.:

Статья, которую я сегодня кончил, — статья о нашей грамматической терминологии. Она, если Бог даст, будет добрым началом ряда статеек о русской грамматике.

В дневнике разбросаны краткие лингвистические заметки по поводу прочитанных Кюхельбекером книг. Их содержание — самое разнообразное, от языка ливонцев до старых названий денег в России. Рядом с такими случайными замечаниями, развиваются более систематические размышления о русской грамматике, которые должны были вылиться в ряд «статьеек».

Несмотря на богатство и разносторонность культурных интересов Кюхельбекера, центром его духовной жизни остается литература и, прежде всего, поэзия. Когда он пишет, он счастлив, когда стихи ему не удаются, он страдает.

Величайшим для меня несчастием будет, если ныне зимою не буду в состоянии сочинять; (...) конечно, не имею ручательств на свой талант; (...) все-таки для меня было бы тяжко в настоящем положении не быть рифмачом. Когда сочиняю, мне кажется, что время нейдет, а летит...

пишет он своей племяннице Саше Глинке 25 сентября 1834 г. (Л. Н. 1954).

Несколько месяцев спустя, в последних числах декабря 1834 г., Кюхельбекер пишет «Мое предназначение», в форме диалога между поэтом и ангелом поэзии, Исфраилом. Ангел утешает поэта, отделенного «от всей вселенной», терзаемого сомнениями, потерявшего и восторг и вдохновление:

..... Твой удел —
И думы, и мечты, и лира;
Но не желай блаженства мира:
А да пролешь с священных струн
Крылатый, радостный перун!

Для Кюхельбекера, без восторга нет и вдохновения: поэту восторг необходим. И восторг является основой духовного склада Кюхельбекера. К нему полностью подходит определение энтузиазма, принадлежавшее Мадам де Сталь:

Многие питают предубеждение к энтузиазму: они смешивают его с фанатизмом, а это большая ошибка. (...) энтузиазм тождествен мировой гармонии; это любовь к прекрасному, душевный подъем, радость самопожертвования, соединенные в одном и том же переживании, в которой есть величие и покой. Значение этого слова по-гречески наиболее возвыщенно предает его смысл: энтузиазм значит "Бог в нас" (De Сталь 1980: 390.)

Кюхельбекер психологически и теоретически энтузиаст. В энтузиазме, для него, основная действующая сила поэзии. Мучительные годы заточения несколько притупляют его юношеский восторг, «душевный подъем» иногда сменяется унынием, поэт проявляет огромное мужество но, конечно, не «радость самопожертвования»; неизменной остается «любовь к прекрасному», вернейший признак души поэтической.

Этим объясняется и его предпочтение высоких поэтических жанров; в них Кюхельбекер находит самую адекватную форму выражения возвышенных чувств и благородных стремлений. Поэзия, для него, постоянный источник морального восхождения.

Высокий этический долг поэта не подлежит сомнению для Кюхельбекера, но нужно найти этическую норму в самой поэзии, безотносительно к требованиям извне. 5 марта 1835 г. в письме любимому племяннику Николаю Глинке писатель разывает мысль о праве поэта на изображение порока.

Изображать поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонен: но представлять порок в привлекательном виде — преступление не перед одною нравственностью, а, к счастию, и перед поэзиею (Л. Н. 1954: 455).

Одна поэзия, а не нравоучение, разрешает вопрос о том, что позволено поэту.

Часто поэт полезнее всякого проповедника: не могу поверить, чтобы тот легко стал мерзавцем, кто раз полюбил наслаждения, какие дает нам поэзия — разумеется, истинная. Поэзия возвышает душу, отвлекает ее от мелких хлопот, попечений, суеты ежедневной жизни, переселяет ее в мир красоты, покоя, картин и звуков и

тем самым омывает, облагораживает ее — вот польза поэзии; другой не знаю и не постигаю (Л. Н. 1954: 456).

К этой мысли Кюхельбекер часто возвращается и в дневнике, и в своих статьях. Его понятие поэзии связано не столько со стихотворной формой, сколько со способностью питать « страсть к высокому и прекрасному ». « Поэзия есть добродетель! » — восклицает он вслед за Жуковским. Не каждого стихотворца можно назвать поэтом, и, наоборот, каждый, даже неграмотный, но необыкновенный человек, « пролагающий себе свой собственный путь в мире, — есть уже поэт » (Кюхельбекер 1978: 190). В любом виде искусства поэзия все то, что не усилие, « то есть, мысль, чувство, идеал ».

В 1835–36 гг., в статье «Поэзия и проза» и в дневнике, Кюхельбекер полемизирует с распространенным мнением, будто время поэзии минуло, будто нужна «дельная» проза, и защищает поэзию в самом прямом смысле этого слова, т. е. сочинения в стихах. Он гневно возражает на утверждение английского писателя Больвера-Литтона, что проза «сердце просвещает» гораздо более поэзии, что часто поэзия, переложенная в прозу показывает отсутствие глубокой мысли. Опираясь на свой опыт «рифмача», Кюхельбекер отвечает, что, наоборот, часто рифма внушает новые, неожиданные мысли. Великие прозаики ничего не потеряли бы, выражая в стихах свои мысли: тому доказательство роман в стихах «Евгений Онегин».

Несмотря на свою горячую, постоянную защиту поэзии, Кюхельбекер время от времени продолжает писать в прозе. По записям дневника можно следить за рождением его творческих планов, в частности «Русского Декамерона 1831» г. и романа «Последний Колонна» (см. Colucci 1987; Пульхритудова 1960). 8-го марта 1832 г. он пишет в дневнике: «начал сегодня повесть в прозе «Италиянец». Работа над повестью, впоследствии известной под заглавием «Последний Колонна» продвигалась с трудом. Весьма вероятно именно эти трудности вызвали горькое замечание 29 ноября 1833 г.:

С удовольствием и даже большим читаю повести и романы, а потому жалею, что сам не умею писать их .

Лишь в 40-м году Кюхельбекер стал переписывать своего «Италиянца» и только в декабре 1843 г. повесть была закончена. Тем не менее «Последний Колонна» еще раз доказывает,

что Кюхельбекер умеет писать повести и романы не хуже многих из своих современников. В этом романе автор употребляет привычную в то время эпистолярную форму, которая позволяет смотреть на одни и те же события с разных точек зрения. Ту же цель преследуют выписки из дневника главного героя и выписки из полицейских газет.

Из многих аспектов романа здесь рассматривается только описание национального характера, столь типичное для романтизма. Показательно в этом смысле первоначальное название романа: «Итальянец». Джованни Колонна — олицетворение итальянца, и в свою очередь он высказывает свое мнение о других народах: «у русских нет нестерпимого важничания англичан»; Французы «хвастливы и заносчивы», у немцев туман в голове. С точки зрения «национального характера» дружба с русскими тоже не случайна: русские по своему темпераменту ближе к итальянцам, чем к другим северным народам; они понимают прекрасное. Они «отрасль славянского, т. е. полуденного племени» (Кюхельбекер 1978: 33). По этому поводу, кроме трафаретных мнений, у Кюхельбекера были и личные наблюдения, от поездок по Европе, которые отразились и в непосредственных путевых заметках и в «Итальянце». В юношеском фантастическом романе «Европейские письма» (1819–20 гг.) он защищает итальянцев от худой славы, которой их оклеймили. Трафарет примерно такой: итальянец, «сын пламенного неба», раб неудержимых страстей, часто доводящих его до злодейства. Он любит искусство, но он хитер и вероломен.

В «Европейских письмах» Кюхельбекер утверждает, что человек, любящий прекрасное не может быть «совершенно отверженным природою», а тот кем владеют сильные страсти, должен иметь и «свежую душу», даже если эти страсти сделали из него злодея. Насчет хитрости итальянцев у него меткое замечание:

Итальянцы были хитры по той же причине, по которой у всех народов, во всех веках и во всех странах земного шара женщины были и будут хитрее мужчин: они были слабыми и угнетаемы (97).

«Итальянцу» Джованни Колонна свойственны все эти характеры, кроме хитрости. Он человек роковой, влекомый своими страстьми: страсть к искусству и страсть к молодой невесте своего русского друга.

Кюхельбекер, писатель-теоретик, воплощает в Джованни Колонне свои идеи о характере итальянцев, об истинном искусстве, о связи между искусством и большими страстьми; самая фамилия героя знаменательна. В образе Колонны можно найти целый ряд обязательных качеств романтического героя: гений и преступление, пагубная любовь, гордость, горячность; на каждом шагу встречаются намеки, вызывающие определенные ассоциации в те годы. Колонна любит фантазировать на фортепиано и берет «себе в тему геицем Моцарта»; в одной из своих картин он изображает Коля ди Риенцо: его трибун — «настоящий антик» в белой мантии, напоминающей древнюю тогу; в Дрездене, Грауманн-Агасфер шепчет ему на ухо: «Кайн!», и т. п.

Кюхельбекер сам сочиняет прозаические произведения и, как критик, следит весьма внимательно за рождающейся романтической прозой. Постоянно читает критические и художественные произведения Бестужева-Марлинского и относится отрицательно к отдельным его высказываниям: например, он считает несправедливыми его нападки на «Мстислава» Катенина, а его разбор «Эсфири» — образцом ложного остроумия и невежества.

Марлинский, согласно распространявшимся в те годы мнением, указывает на то, что в России пришла пора перейти от стихов к прозе. Свои повести он пишет с острым критическим сознанием, то полемизируя со старыми канонами жанра, то вступая в прямой разговор с читателем и обнажая свои приемы. На художественные произведения Марлинского Кюхельбекер часто откликается с восхищением.

Прочел прекрасную повесть А. Марлинского «Испытание» (...) ее нужно причислить к лучшим повестям на нашем языке (295).

Критики нашей эпохи (Базанов, Эйхенбаум) видят в «Испытании» спор с пушкинским Онегиным, попытку изобразить другой тип человека, выросшего в атмосфере декабризма. Кюхельбекер же замечает в этой повести сходство с некоторыми приемами Вашингтона Ирвинга и Гофмана. Подражание Ирвингу и Гофману заметно и в «Вечере на кавказских водах в 1824 году», произведение, в котором Кюхельбекер чувствует «много истинно русского», помимо подражания иностранным моделям.

Кюхельбекер оценивает «гофманский» элемент в прозе Марлинского; например, в повести «Лейтенант Белозор» (1831) пляску букв письма, которое герой отправляет своей жестокой возлюбленной, или воображаемую картину мертвцевов, играющих в мячики собственными головами. В таланте Марлинского есть что-то легкое, шутливое, пеняющееся, как шампанское. Эта черта очень дорога Кюхельбекеру; еще больше он восхищается произведениями, в которых проявляются оригинальность и «истинное воображение» — главные признаки романтизма в понятии Кюхельбекера.

Когда Кюхельбекер сравнивает других русских прозаиков с Марлинским, сравнение обычно идет в пользу последнего: у Загоскина желание «тянуть за Марлинским, но ему до Марлинского далеко». Сенковский в повести «Вся женская жизнь в нескольких часах», в «Воспоминаниях о Сирии» проявляет воображение, завлекательность, талант, «но все же Марлинский подлинник», а он «список». Только лермонтовского «Героя нашего времени» он «принужден поставить (...) выше Марлинского».

Оценивая повесть Марлинского «Фрегат Надежда», Кюхельбекер составляет в то же время краткий список лучших по его мнению писателей современников.

Марлинский — человек высокого таланта (...), у нас мало людей, которые могли бы спорить с ним о первенстве. Пушкин, он и Кукольник — надежда и подпора нашей словесности; ближайший к нему — Сенковский, потом Баратынский (4 июня 1835 г.).

Сегодняшнему читателю такое расположение Пушкина и Кукольника в один ряд представляется более чем странным. Но для того, чтобы понять место каждого из них в русской литературе нужно было историческое расстояние. Сам Пушкин в статье «Письмо к издателю» (1836), говорил о восторге, с которым публика принимала в те годы Кукольника.

В толстых журналах, хотя и с опозданием, Кюхельбекер читает произведения своих современников, русских и иностранных. Из русских прозаиков, кроме Марлинского, он читает Вельтмана, Булгарина, Даля, Загоскина, Сенковского и других. Из произведений своего давнего друга и сотрудника по альманаху «Мнемозина», В. Ф. Одоевский, Кюхельбекер высоко оценивает «Княжну Мими» («это первое сочинение Володи, которым я доволен», 342), считает «довольно пошлым»

фантастический роман «4338-й год», но с настоящим изумлением он относится только к «Русским ночам».

Книга Одоевского *Русские ночи* одна из умнейших книг на русском языке (...). Сколько поднимает он вопросов! Конечно, ни один почти не разрешен, но спасибо и за то, что они подняты, — и в Русской книге! Он вводит нас в преддверье; святыня заперта; таинство закрыто; мы недоумеваем и спрашиваем: сам он был ли в святыне? Разоблачено ли перед ним таинство? Разрешена ли для него загадка? (9 апреля 1845).

Кюхельбекер, еще в первой молодости многообещающий критик, в одной из последних записей своего дневника показывает, что его критические способности не притупились, даже при многолетней оторванности от культурной среды. Он сразу отгадывает эстетическую и философскую значимость «Русских ночей».

* * *

Литературная судьба Кюхельбекера была не менее трагична, чем личная. Большинство из его произведений, написанных в крепости и в ссылке, при жизни его не печатались, многие из них и до нас не дошли. По записям дневника мы можем догадаться о содержании нам неизвестных статей, о которых Кюхельбекер упоминает и в своих письмах.

Для автора дневник был средством и доказательством напряженной умственной работы. Для нас — это свидетельство борьбы незаурядного человека за свое писательское достоинство, и ценный литературный документ. Цель сохранения своей личности была достигнута Кюхельбекером. Нервный, экзальтированный чудак, которого даже друзья называли без злобы «сумасшедшим», оказался на редкость устойчивым и трезвым.

Дневник кончается стихотворением «Участь русских поэтов», которое полностью подходит к судьбе самого автора:

Горька судьба поэтов всех земель.
Но горше всех певцов моей России.
Заменит ли трубой кто свирель
И петля ждет его мятежной выи!

БИБЛИОГРАФИЯ

Азадовский М. К.

- 1954 Последняя статья Кюхельбекера. — В книге: Литературное Наследство т. 59, Москва, Наука 1954, 547-554.

Bachelard G.

- 1940 L'eau et les rêves. Paris, José Corti 1940.

Binni W.

- 1969 Introduzione a: Giacomo Leopardi, Tutte le opere, Firenze, Sansoni 1959.

Базанов В. Г.

- 1950 Поэты-декабристы. К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский. Москва-Ленинград, Академия Наук 1950.

Colucci M.

- 1987 Le roman de V. K. Kjuchel'beker *Poslednij Kolonna*. — In: Le romantisme russe et les littératures néo-latines. Firenze, Le Lettere [Studia historica et philologica] 1987.

Декабристы-критики

- 1954 Декабристы-критики «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина. — В книге: Литературное Наследство т. 59, Москва, Наука 1954, 557-598.

M.me De Staél

- 1980 De l'Allemagne, 1813. — В книге: Литературные манифести западноевропейских романтиков, под ред. А. С. Дмитриева. Москва, Изд. Моск. Ун-та 1980.

Егунов А. Н.

- 1966 Кюхельбекер — читатель Гомера. — В книге: Русско-европейские связи, Москва-Ленинград 1966.

Fasano P.

- 1985 L'entusiasmo della ragione. Roma, Bulzoni 1985.

Кюхельбекер В. К.

- 1978 Отрывок из путешествия по полуденной Франции. Поэзия и проза. — В книге: Литературно-критические работы декабристов. Москва, Художественная Литература 1978.

- 1979 Путешествие. Дневник. Статьи. Изд. подготовили Н. В. Королева и В. Д. Рак. Ленинград, Наука 1979.

- 1986 Европейские письма (отрывки). В книге: Русская литературная утопия, Москва, Издательство Моск. Ун-та 1986.

Левин Ю. Д.

- 1963 Рассуждение В. К. Кюхельбекера об исторических драмах Шекспира. — В книге: Международные связи русской литературы, под. ред. М. П. Алексеева, Москва-Ленинград 1963.
- 1968 В. К. Кюхельбекер — переводчик Шекспира. В книге: Шекспировский сборник 1967, Москва, Наука 1968.
- Leopardi G.
- 1949 Tutte le opere, a cura di Francesco Flora. Milano, Mondadori 1949.
- Л. Н.
- 1954 Литературное Наследство. Декабристы-Литераторы т. 59, Москва, Наука 1954.
- Литературно-критические работы декабристов
- 1978 Литературно-критические работы декабристов. Москва, Художественная Литература 1978..
- Лунин М. С.
- 1987 Письма из Сибири. Москва , Наука 1987.
- Манн Ю. В.
- 1976 Поэтика русского романтизма. Москва , Наука 1976.
- Маркевич М. А.
- 1954 Воспоминания М. А. Маркевича о встречах с Кюхельбекером в 1817-1820 гг. — В книге: Литературное Наследство т. 59., Москва, Наука 1954, 501-511.
- Мейлах В. С.
- 1975 «Словарь» В. К. Кюхельбекера (история замысла, идеи, структура). — В книге: Декабристы и русская культура, Ленинград, Наука 1975.
- Picchio R.
- 1978 Motifs alfiériens dans la tragédie Argivjane de V. Kjuchel'beker. In: Études littéraires slavo-romanes. Firenze, Licosia 1978.
- Пульхритгудова Е. М.
- 1960 «Лермонтовский элемент» в романе В. К. Кюхельбекера «Последний Колонна». — Научные Доклады Высшей Школы Филол. Наук (1960) 2, 126-139.
- Пушкин А. С.
- 1954 Полное собрание сочинений. Москва, Академия Наук 1954.
- Тынянов Ю. Н.
- 1929 Архаисты и новаторы. Ленинград 1929. [Reprint München, Fink 1967].
- 1969 Пушкин и его современники. Москва, Наука 1969.
- 1973 Кюхля. Рассказы. Москва, Художественная Литература 1973.
- Эйхенбаум Б.
- 1969 О прозе. Ленинград, Художественная Литература 1969.